

«Судьба реформы: Русское крестьянство в правительственной политике до и после отмены крепостного права (1830–1890-е гг.)»

Игоря Христофорова

Подготовка, реализация и интерпретация крестьянской реформы 1861 г., наверное, всегда будут привлекать к себе внимание историков России. По мере её изучения постоянно накапливаются разнообразные данные, выявляются новые свидетельства, переосмысливаются, казалось бы, хорошо известные источники. Наконец, с каждым десятилетием меняется сама перспектива, открывающаяся перед исследователем, всматривающимся в прошлое. Естественно, что в переосмыслении нуждаются при этом и прежние исследовательские подходы и обобщения (будь то «теория модернизации», постулат о существовании в XIX в. некоего «феодализма» или расплывчатые «признаки революционной ситуации»). Однако формулирование новых концепций со временем даётся всё труднее и становится всё рискованнее – слишком уж велик, разнороден и внутренне противоречив собранный за полтора столетия материал. Тем не менее освоение его представляется насущной задачей, поскольку Великая реформа, без всяких сомнений, является одним из ключевых событий отечественной истории. Обильную пищу для размышлений над ним даёт монография главного редактора журнала «Российская история», ведущего научного сотрудника Института российской истории РАН Игоря Анатольевича Христофорова¹.

В обсуждении книги приняли участие доктор наук и профессора Д. Байрау (Тюбингенский университет Эберхарда и Карла, Германия), Н.И. Горская (Смоленский государственный университет), М.Д. Долбилов (Университет штата Мэриленд, США), В.А. Китаев (Нижегородский государственный университет им. Н.И. Лобачевского), Я. Коцонис (Нью-Йоркский университет, США), Н.Ф. Литвинова (Днепропетровский национальный университет им. О. Гончара, Украина) и Ю. Такенака (Осакский университет, Япония), а также кандидат исторических наук А.А. Комзолова (издательство «РОССПЭН»).

Янни Коцонис: Чего не знали и не могли знать в столицах

И.А. Христофоров написал яркую и оригинальную книгу, которую можно считать новым достижением научной «школы П.А. Зайончковского». В ней присутствуют все характерные для этой школы черты: монография посвящена одной из фундаментальных, структурных проблем российской истории, особое внимание её автор уделяет изучению законодательства и государственных институтов, опираясь при этом на скрупулёзный анализ многочисленных архивных источников. Кажется, меняются политические режимы, но

¹ Христофоров И.А. Судьба реформы: русское крестьянство в правительственной политике до и после отмены крепостного права (1830–1890-е гг.). М.: Собрание, 2011. 368 с.

«государственная школа», частью которой является и школа Зайончковского, по-прежнему авторитетна в российской историографии и продолжает развиваться благодаря новому поколению учёных. Кстати, могу отнести к этому поколению и себя самого: я также писал об «аграрном вопросе»², затем занимался фискальными и финансовыми проблемами, которым посвящена значительная часть книги Христофорова, а сейчас заканчиваю исследование о налогах в Российской империи и в Советском Союзе в 1920-е гг.

Подобно своему учителю профессору Л.Г. Захаровой, Христофоров анализирует предысторию крестьянской реформы 1861 г. При этом он убедительно демонстрирует, что отмена крепостного права затрагивала практически каждый аспект российской жизни XIX в. – от взаимоотношений помещного дворянства и бюрократии до сбора податей и формирования представлений о крестьянской исключительности. Некоторые из этих сюжетов новы для историографии, другие уже рассматривались, но все они имеют самое прямое отношение к ключевому вопросу о целях Великих реформ. Отвечая на него, Христофоров развивает мысли, высказанные в своё время Зайончковским и Захаровой: помимо очевидного стремления реформаторов обновить и усилить самодержавное государство, их цели никогда не были вполне ясны, являясь отражением целой серии компромиссов между разными и порой противоречивыми установками и интересами. Реформаторы стремились одновременно и гарантировать социальную стабильность, избежав появления пролетариата, и сохранить экономические позиции и культуру помещного дворянства, являвшуюся для многих синонимом цивилизации, и, наконец, защитить крестьянство, нередко воспринимавшееся как символ настоящей «русскости».

Мой учитель профессор Леопольд Хеймсон часто говорил, что Великим реформам, по замыслу их авторов, так и предназначалось остаться незавершёнными, и только время должно было указать, по какому именно пути пойдёт после них Россия. Такое понимание сложилось у Хеймсона под влиянием Зайончковского, бывшего одним из его наставников. Теперь этот взгляд исчерпывающе аргументируется в книге Христофорова, показавшего, что Великие реформы (и прежде всего главная из них – крестьянская) были не совокупностью законодательных актов с запрограммированным результатом, а длительным и открытым «процессом».

Будущее реформ определялось в десятилетия, следовавшие за их принятием, причём само законодательство допускало различные его интерпретации. Кто будет управлять освобождёнными крестьянами вместо помещиков? Должны ли бывшие крепостные в какой-то момент обрести все гражданские права (и прежде всего – возможность самостоятельно распоряжаться своим трудом и собственностью) или по-прежнему будут растворены в «юридическом лице» – крестьянской общине? Останутся ли сельское общество и волость сугубо крестьянскими административными единицами или же появится та или иная форма «всесословной» территориальной общности? Другими словами, сможет ли государство управлять крестьянами напрямую, достаточно глубоко проникнув в социальную ткань, или же сохранятся прежние методы опосредованного контроля с использованием в бюрократических целях крестьянского самоуправления? Последнее оставалось гораздо более вероятным. В этом отношении я принадлежу к числу пессимистов, и исследование Христофорова лишь укреп-

²Коцюнис Я. Как крестьян делали отстающими: сельскохозяйственные кооперативы и аграрный вопрос в России, 1861–1914. М., 2006.

ляет моё мнение. В императорской России крестьяне так и не превратились в полноценных граждан, несмотря на все попытки нивелировать роль коллектива (общины), имевшие, правда, скорее символическое значение.

Однако обсуждаемая нами книга не просто продолжает былые научные традиции. Её автор выстраивает совершенно оригинальную линию аргументации, раскрывая неопределённость, царившую в представлениях и действиях целых поколений реформаторов – от П.Д. Киселёва до С.Ю. Витте (не говоря уже о Екатерине II). Не случайно в предисловии Христофоров приводит обширную цитату из известной работы Джорджа Яни (Йени) «Подталкивая мобилизацию: аграрная реформа в России, 1861–1930 гг.»³, в которой говорится о колоссальном дефиците информации, неизменно сопровождавшем в России разработку, принятие и реализацию аграрных законов.

Надо сказать, что Яни всегда стоял особняком в среде американских русистов. Бывший морской офицер, он был грубоват, резок и порой нетерпим в своих оценках трудов коллег. Однако он обладал также ясным умом, был прекрасным аналитиком и самобытным мыслителем. В его времена в западной русистике доминировало влияние позитивизма. Полагаясь на данные источников, исследователи стремились создать цельную, понятную и по возможности квантифицированную картину исторической реальности. В США эта тенденция ярко проявилась в работах Дж. Робинсона и А. Гершенкрона⁴. Яни же показал, что очень часто современники реформ сами не вполне понимали, как именно принимаемые в столице законы работают в деревне (о которой они знали очень мало). Было ему ясно и то, что сложные программы преобразований, от киселёвского кадастра и отмены крепостного права до столыпинской реформы, возникали под влиянием не конкретных данных о положении крестьян, а прежде всего идеологии (в основном – либеральной и народнической), и что, скажем, споры Н.Х. Бунге и Д.А. Толстого или С.Ю. Витте и К.П. Победоносцева имели отношение не столько к реально протекавшим в российской деревне процессам, сколько к сфере идей.

Иначе говоря, в основе позиции Яни было *сомнение* и в том, что сообщали ему источники, и в выводах, которые историки привыкли делать на их основе. Из этого проистекало его воинственное неприятие тех трудов, авторы которых, как ему казалось, слишком некритически относились к мнениям современников о положении в деревне и к собственным идеям по этому поводу. Христофоров гораздо более уважительно относится к предшествующей историографии, да и исследование его мне кажется более разносторонним и лучше написанным. Однако, подобно Яни, он, похоже, не склонен безусловно доверять данным источников. Почти на каждой странице своей книги он вступает с ними в своеобразный диалог, стремясь не только выяснить, что они говорят, но и понять, о чём они в принципе могли или не могли рассказать. Он сознаёт, что всеподданнейшие доклады были связаны с происходящим в какой-нибудь тамбовской деревне гораздо слабее, чем принято считать. Автор постоянно напоминает читателю о тех ограничениях, которые возникают перед исследовате-

³ Yaney G.L. The Urge to Mobilize. An Agrarian Reform in Russia, 1861–1930. Urbana, 1982.

⁴ Robinson G.T. Rural Russia under the Old Regime: A History of the Landlord-Peasant World and a Prologue to the Peasant Revolution of 1917. Los Angeles; N.Y., 1932; Gershenkron A. Agrarian Policies and Industrialization: Russia, 1861–1917 // Cambridge Economic History of Europe. Vol. 6. Pt. 2. Cambridge, 1965.

лем аграрной тематики, стремящимся до конца разобраться в не поддающейся полной дешифровке, ускользающей исторической реальности.

Как исследователь я полностью разделяю эту озабоченность связью риторики и политики с реальностью⁵. Изучение налогообложения крестьян также свидетельствует, что государство вынуждено было использовать архаичную раскладочную систему обложения как раз из-за невозможности добиться контакта с каждым отдельным налогоплательщиком. Масштабные же проекты податных реформ всякий раз оказывались непригодны в условиях российской деревни⁶. Как и Христофоров, я многим обязан Джорджу Яни, чья книга некогда заставила меня переосмыслить своё исследование. В результате вместо того чтобы, овладев материалом, рисовать прозрачную, полную и логически безупречную картину правительственной политики в отношении крестьян, я пришёл к выводу, что на ряд ключевых вопросов ответов в имеющихся у нас источниках просто нет и не может быть.

Неведение элиты о происходившем в стране заслуживает самого серьёзного внимания, тем более что и в Советское время, в годы военного коммунизма и насильственной коллективизации, вновь повторилось нечто давно и хорошо знакомое: теперь уже партийная элита предъявляла очень жёсткие требования к населению страны, которое никогда ранее не имело дела с новыми формами управления и контроля. То, чего не знали и не могли знать в столицах – очень важная часть истории, структурирующая наши представления о ней. Со своей стороны, поздравляю И.А. Христофорова с удачной работой: его утверждения и выводы ясны и обоснованы, но ещё важнее другое – объектом анализа стало для него и то, что прояснению и обоснованию не поддаётся.

В.А. Китаев: Власть и крестьяне в России: идеологическое измерение

Я не принадлежу к числу специалистов по аграрной тематике. Однако моих главных героев – славянофилов и либералов-западников второй половины XIX столетия – невозможно представить без их размышлений над «крестьянским вопросом», который всегда учитывался ими при выстраивании социально-политических программ. Кроме того, непосредственная, ученическая близость к П.А. Зайончковскому – одному из корифеев в разработке истории крестьянской реформы и правительственной политики в целом – даёт мне дополнительные права судить о книге Христофорова, тем более что её автор является ярким представителем второго поколения в том большом сообществе, которое называют «школой Зайончковского».

По широте хронологического охвата материала обсуждаемая работа встаёт в один ряд с хрестоматийным трудом В.И. Семева «Крестьянский вопрос

⁵ См. также: *Pallo J. Land Reform in Russia, 1906–1917: Peasant Responses to Stolypin's Project of Rural Transformation*. Oxford, 1999; *Hoch S. The great reformers and the world they did not know: drafting the Emancipation legislation in Russia, 1858–1861 // Everyday life in Russian history: quotidian studies in honor of Daniel Kaiser*. Boomington, 2010.

⁶ См. об этом: *Коцюнис Я.* Подданный и гражданин: налогообложение в Российской империи и Советской России и его подтекст // *Россия и Первая мировая война*. СПб., 1999; *Kotsonis Y.* «Face-to-Face»: The State, the Individual, and the Citizen in Russian Taxation, 1863–1917 // *Slavic Review*. 2004. Vol. 63. № 2. P. 221–246; *idem.* «No Place to Go»: Taxation and State Transformation in Late Imperial and Early Soviet Russia // *The Journal of Modern History*. Vol. 76. 2004 (Summer). P. 531–577; *idem.* The Problem of the Individual in the Stolypin Reforms // *Kritika: Explorations in Russian and Eurasian History*. 2011. Vol. 12. № 1. P. 25–52.

в России в XVIII и первой половине XIX в.». Но дело не только в расширении временных границ. Авторская установка на проникновение внутрь сложнейшей «ткани» крестьянского дела, стремление «схватить» всю его многомерность обуславливает проблемную насыщенность книги (причём настолько плотную, что волей-неволей начинаешь желать понижения её предельно допустимой концентрации). Наконец, работа не только продолжает и развивает традиции российских научных школ, но и интенсивно сплавляет их с достижениями современной зарубежной (прежде всего – американской) русистики.

Уходя от «линейной схемы» изложения крестьянской политики правительства (замысел программа – преодоление противодействия – воплощение), автор выделяет две многомерные системы, являющиеся предметом его анализа: с одной стороны – деятельность государства, а с другой – её объект – крестьянский мир. Для понимания их взаимодействия важны как выявление мотивации и идеологического контекста действий власти, оценка состояния административных и правовых институтов, финансовых и кадровых ресурсов, так и характер крестьянского землепользования, методы вотчинного управления, влияние межевания, кадастра и налогообложения на жизнь деревни. Христофоров констатирует растущую идеологическую эклектичность и слабое институциональное оснащение государственной политики в деревне, совершенно недостаточное для того, чтобы подчинить «замкнутый, непрозрачный, не вполне доступный для понимания, а, значит, и для контроля мир крестьян» (с. 18) требованиям «рационализации» и «стандартизации», лежавшим, как он считает, в основе всех реформаторских планов.

Несомненно, это – новое видение крестьянской реформы. Перенастройка привычной исследовательской оптики, произведённая автором книги, заставляет вспомнить о понятии «остранение», которое было введено в начале прошлого века выдающимся литературоведом В.Б. Шкловским, описавшим художественный приём, позволяющий нарушить автоматизм привычного мировосприятия с помощью нового – «странного» – взгляда на знакомые вещи и явления.

Особый интерес вызывает соотнесение в книге проектной работы бюрократии и подпитывавших её идеологических источников. Автор верно подмечает, что к середине 1850-х гг. классический либерализм, вдохновлявший М.М. Сперанского, уже серьёзно корректировался идеями «исторической школы» в политической экономии, а также социалистическими учениями. Константой для всех поколений русской бюрократии была вера во всемогущество государства и эффективность государственной регламентации. Новым и существенным моментом в становлении реформаторской программы стала общинная мифология А. Гакстгаузена, славянофилов, А.И. Герцена. Либеральная бюрократия к тому времени была подготовлена к усвоению отдельных элементов романтических представлений. «Возникший из этой комбинации гибрид историзма и эмпирического знания, стратегий “естественного развития” и контроля, – обоснованно полагает автор, не только не был мертворожденным – он стал доминирующим в идеологии Великих реформ... и определил основные их черты, сильные и слабые стороны» (с. 100). Совершенно очевидно, что нередко ведущиеся в литературе разговоры о чистой «либеральности» освобождения не могут не выглядеть в этом контексте по меньшей мере наивно. Накануне 19 февраля 1861 г. проявилась такая характерная черта общественного и бюрократического либерализма, как его способность сочетаться с консервативными

идеями. Особенность мышления «милютинского» поколения прогрессистской бюрократии Христофоров видит в «гораздо более отчётливом, чем у его предшественников, осознании социальных задач, стоявших перед государством», и в новом отношении к «научной обоснованности» своих действий, связанном с историзмом и органицистским взглядом на общество (с. 118–119). Благодаря этому при освобождении крестьян и стало возможным достижение «общественно-бюрократического консенсуса».

Христофоров фиксирует парадоксальность идеологической ситуации и после 19 февраля 1861 г. Крестьянская реформа сделала ещё более сомнительным, просто бесперспективным осуществление в русской деревне теорий экономического либерализма. Их защищала лишь «аристократическая партия», ещё не смывшая с себя клеймо «крепостников». Рядом с ней одиноко стоял безупречный либерал Б.Н. Чичерин, последовательно выступавший против государственного патернализма в отношении крестьянства. Зато заметно расширились ряды охранителей пореформенного устройства деревни, среди которых было немало искателей «третьего пути» – между классической либеральной доктриной и социальной утопией (кн. А.И. Васильчиков и др.). Набрал силу и народнический социализм, связывавший будущее страны с общиной. Вопрос о конечной цели реформы в этих условиях не мог не оставаться открытым. На рубеже 1870–1880-х гг. антибуржуазность общественного мнения еще как-то контрастировала с правительственным курсом на «умеренный индивидуализм», но уже в первой половине 1880-х гг. правящие круги определённо сдвигаются в сторону антииндивидуализма. Таким образом, есть все основания говорить о своеобразной консолидации власти и общественного мнения, сформированного народниками, славянофилами и консерваторами, а также многочисленными теоретиками и публицистами, вступившими на путь «социализации» либеральной доктрины. Шаги в этом направлении неизбежно вели к признанию благотворности общинного начала и регулирующей роли государства и предполагали известную терпимость к социалистическим учениям. Не случайно автор отмечает рост интереса к общине на Западе и проникновение в Россию теорий «государственного социализма». Так причудливо выглядела идеологическая почва, подпитывавшая политику самодержавия.

Идейные искания, связанные с «крестьянским вопросом», изложены в книге вполне убедительно. Но этого не скажешь о концепции исследования в целом. В нём явно не хватает ответов на вопросы, кажущиеся автору, быть может, чересчур банальными, а потому и не заслуживающими подробного освещения. Так, почти ничего не сказано о причинах того решительного шага, который был сделан правительством 19 февраля 1861 г. Расплывчатых рассуждений о «явном переломе в потреблении элиты» и «стремительном распространении рационалистической идеологии» (с. 35–36) здесь недостаточно. Кстати, автор сам привлекает внимание читателя к этой проблеме, упоминая вскользь о её неожиданном решении в «Крепостном хозяйстве» П.Б. Струве. Да и пореформенная деревенская действительность оказывается для читателя книги столь же неприступной и непроницаемой, какой она оставалась для власти, и Христофоров не делает никаких попыток «расколдовать» этот мир. В результате трудно уловить, в чём, по его мнению, состоял исторический смысл реформы и каково было её значение. Заметно, что автор сторонится таких привычных понятий, как «свобода», «освобождение», с которыми обычно связывается отмена крепостного права в России. Но всё же, была ли в идеологически гетерогенной

реформе либеральная доминанта? Могла ли она задать определённый вектор в социально-экономическом и политическом развитии России? Существовала ли связь между отменой крепостного права и программой Столыпина?

Возможно, автор уклоняется от этих вопросов под влиянием глубокого скепсиса в отношении дирижистского либерализма, неизбежно отягощённого насилием над привычным жизненным укладом. Этим настроением объясняется и противоречивость общей панорамы крестьянской политики в XIX – начале XX в. Христофоров то решительно противопоставляет дело реформаторов 1861 г. и «крестьянскую» политику Столыпина, то всё же выстраивает в одну цепочку преобразования П.Д. Киселёва, отмену крепостного права и столыпинские реформы, не без внутреннего сопротивления признавая, что у них была общая цель – «вырастить» «самостоятельного крестьянина» (с. 14).

Решительно отказываясь не только от «формаций», но и от «обветшавшего методологического арсенала теории модернизации», автор терминологически и по сути всё же остаётся в зависимости от последней, как, впрочем, и от идеологического эквивалента модернизационной парадигмы – либерализма. Так, он активно использует понятия рационализации, институционализации, модерности и премодерности. Нет ничего антимодернизационного и в изображении им процессов, происходивших в 1860–1870-х гг.: «Между тем в Россию всё ощутимее приходила новая эпоха железных дорог, банков и промышленности, рационального права и общественного представительства, новых форм научного знания и социального контроля, новых методов и стандартов управления, нового языка и стиля публичных дебатов» (с. 179). Весьма характерно также, что, по мнению исследователя, результатом отказа правительства от либерального пути решения крестьянского вопроса в 1880-х гг. стал «явный застой, а в конечном итоге социальный взрыв 1905 г. (не говоря уже о более отдалённых последствиях)». Христофоров обоснованно считает, что «поиск в деревне особого “русского пути в будущее”», «примирение с архаичными правовыми, административными и социальными реалиями» и попытка «признать их нормой» вели страну в исторический тупик (с. 12).

Работая над книгой, её автор нащупал множество рифов, таящихся под хрестоматийно-мифологической гладью. Успешной ли оказалась его попытка деидеологизации макроистории? Вряд ли. Но возможна ли вообще на макроуровне конструктивная детеоретизация и деидеологизация, не срывающаяся в постмодернистский нигилизм?

Ютака Такенака: О модернизации и её национальной специфике

Моё первое знакомство с историей российских Великих реформ пришлось на конец 1970-х гг. Как известно, в брежневскую эпоху в кругах советских исследователей общественно-политической мысли императорской России наметилась тенденция к изменению прежних установок. Всё чаще они проявляли интерес к идеям не только «революционных демократов», но и славянофилов, и либералов. Больше всего повлияли на меня работы Н.М. Пирумовой, В.А. Твардовской и особенно В.Г. Чернухи, исследования которой, выделявшиеся новизной проблематики и отходом от принятых в советской историографии рамок, оказались буквально струёй свежего воздуха. Их роль в моём и моих коллег профессиональном становлении невозможно переоценить. Именно благодаря работам Чернухи я заинтересовался П.А. Валугевым, который в японской науке

до этого никогда не считался сколько-нибудь значимой фигурой. В результате видение реформ Александра II не только мной, но и большинством тогдашних студентов отделений российской истории по всей Японии явно шло в разрез с тем, которого придерживалась в то время официальная «научная» Москва.

В конце 1980-х гг. я пересёк океан для стажировки в США на кафедре профессора Ричарда Уортмана. Моё внимание привлёк так называемый административно-исторический подход в американской русистике. Это было связано с появлением на свет в 1970–1980-х гг. работ Джорджа Яни, Ричарда Роббинса, Томаса Пирсона⁷. Как ни странно, зародившись в США, этот подход не получил широкого распространения у себя на родине. Однако мне, на тот момент не нашедшему себя ни в чисто политической, ни в социальной истории, он был более чем близок, поскольку рассмотрение деятельности административных институтов помогало перебросить мостик между политико-идеологическими и социально-экономическими сюжетами.

С окончанием «холодной войны» началось резкое возвеличение западной цивилизации, задающей «единственно правильные» мировые стандарты. На протяжении 1990–2000-х гг. в Японии под давлением идей глобализации претворяются в жизнь многочисленные реформы: децентрализация власти, изменение основ системы социального обеспечения, приватизация почты и др. Схожие процессы наблюдаются и в современной России. Следя за происходящими вокруг событиями, я понял, что интерес к преобразованиям прошлого и внимание к современности начинают тесно переплетаться у меня в голове, и именно это открывает глаза на само понятие «реформы» как таковое. Этот взгляд нашёл выражение в книге, ставшей итогом моей 20-летней работы по изучению Великих реформ⁸.

Познакомившись с обсуждаемой сегодня монографией И.А. Христофорова, я был поражён тем фактом, что некоторые её идеи напрямую перекликаются с моими личными догадками, сделанными более 10 лет назад. Я очень рад, что многие выводы, некогда сделанные мною и моими коллегами, которые были объективно неполноценными из-за отсутствия у нас доступа к необходимым материалам, сегодня дополняются, расширяются и углубляются молодым поколением российских учёных, потому как именно они – единственные, кто в состоянии расставить все точки над «i» в истории Великих реформ.

Христофоров смог осветить глубинные аспекты проблемы реформирования сельской России. Скажем, очень верным представляется его замечание по поводу того, что нельзя отождествлять административную систему (как совокупность органов управления) и административно-правовую инфраструктуру. Последнее понятие является гораздо более широким, включая в себя правовые институты и нормы, а также реальные методы управления, далеко не всегда определявшиеся структурой и компетенцией органов власти (что часто не учитывается в рамках административно-исторического подхода).

⁷ Yaney G.L. The Sistematization of Russian Government: Social Evolution in the Domestic Administration of Imperial Russia. Urbana, 1973; *idem*. The Urge to Mobilize...; Robbins R.G. The Tsar's Viceroys: Russian Provincial Governors in the Last Years of the Empire. Ithaca, 1987; Pearson T.S. Russian Officialdom in Crisis. Autocracy and Local Self-Government, 1861–1900. Cambridge UP, 1989.

⁸ Takenaka Y. Kindai Roshia eno tenkan: daikaikaku jidai no jiyū shugi shisō. Tokyo, 1999 (*Таке-нака Ю. В поисках современного общества. Русские либералы и Великие реформы, 1856–1866. Токио, 1999, на японском яз.*).

Анализ административно-правовой инфраструктуры имеет большое значение для правильного понимания «крестьянского вопроса». Из книги Христофорова видно, что даже реформаторам второй половины XIX в. не легко было в ней разобраться. К слову, в Японии «крестьянский вопрос» всегда был в центре внимания специалистов, занимающихся российской историей. Об этом свидетельствует уже хотя бы тот факт, что здешние работы о коллективизации обычно задавали тон всем остальным исследовательским направлениям (в том числе изучению политической истории). При этом в зависимости от своей позиции, историки всегда склонны были впадать в одну из крайностей – либо идеализировать крестьянина, либо, наоборот, крайне занижать его оценку. В результате чисто научные дискуссии нередко превращаются в идеологические, а описываемый политический курс отрывается от той социальной реальности, в которой он проводился. Знание же административно-правовой инфраструктуры помогает глубже понять социальные и политические процессы, а также их взаимосвязь. Это открывает огромные перспективы для сближения микроисторических исследований и трудов, посвящённых истории идеологии и правительственной политике.

Конечно, оставаясь в рамках микроистории, нельзя судить о том, насколько действия центральной власти были адекватны реальности «на местах». Как абсолютно верно замечает Христофоров, глубина видения ситуации на микроуровне и целесообразность разрабатываемого на макроуровне политического курса – проблемы двух разных измерений, синтезировать которые не так уж и легко. И тем не менее крайне важно установить, на какого рода сведениях основывались принимаемые в столице решения и сколь существенным было отстояние (не только географическое, но и информационное) Петербурга от периферийной деревни.

Не менее существенна и связь между административно-правовой инфраструктурой и «политической модернизацией». Модернизация – понятие далеко «не первой свежести», сегодня уже порядком утратившее свою популярность, однако в определённой степени оно продолжает быть полезным. «Модернизацию» следует отличать от «вестернизации», хотя между ними всё же существует неразрывная связь, ведь именно на Западе зародилась и получила развитие вера в универсальность прав человека, демократии и главенство закона. Кроме того, вестернизация – это не просто заимствование, но и адаптация западных идей и технологий к особенностям заимствующей стороны. В России, как и в Японии второй половины XIX в., вопрос об «адаптации» западных моделей стоял очень остро. Работа Христофорова богата наблюдениями по поводу того, насколько ощутимым и неоднозначным было влияние западных идей в императорской России.

Создание административно-правовой инфраструктуры относится, пожалуй, к числу тех универсальных задач, с которыми сталкивается каждое общество. Не имея возможности провести перепись населения, составить земельный кадастр, собрать достоверные статистические данные, внедрить новые формы налогообложения, организовать «публичное пространство», а также пробудить у населения интерес к общественным делам и уважение к закону как таковому, просто невозможно добиться эффективного и стабильного управления. В крепостной России первой половины XIX в. и чиновники, и помещики, прямо говоря, побаивались вмешиваться в сложный крестьянский «мир», где распределением земли и повинностей между дворами занималась община. Отсутствие

же административно-правовой инфраструктуры, основанной на праве частной собственности, со временем разительно сказывается на «отставании» системы в целом.

В то же время успешное создание административной инфраструктуры возможно лишь при устойчивом общественном порядке в центре и на периферии, единодушно одобряемом людьми с разными экономическими интересами, при единении общества, солидарности и взаимном доверии, чувстве собственного призвания (всё это обычно объединяют понятием «этос»). Не менее тесно её организация связана и с деятельностью центрального правительства, определяющей костяк будущей инфраструктуры, или, напротив, перекладывающей всю ответственность за неё на плечи периферии, как это произошло в России с налоговой реформой и земельным кадастром. Почему это случилось? Какими возможностями располагало государство? Какие условия требовались для того, чтобы проблему организации инфраструктуры вообще можно было выносить на обсуждение и вкладывать в её решение необходимые средства и энергию? Какой должна была быть при этом политическая система? Нужно ли было включить в неё представительные учреждения, как это предлагалось П.А. Валуевым и гр. П.А. Шуваловым? Правление Александра III – яркий пример того, что стремление к политическим преобразованиям совсем не обязательно связано с усложнением административных задач, и, наоборот, при сохранении самодержавия правительство может предпринимать попытки поиска путей их решения. Не случайно упомянутые уже американские исследователи ставили вопрос о том, чем были вызваны «контрреформы» – влиянием идеологии или же прагматичным расчётом? Однако, как пишет Христофоров, решение гр. Д.А. Толстого взять курс на сохранение общины и усиление контроля над крестьянами со стороны государства вовсе не обязательно подкреплялось объективным осознанием министром внутренних дел существующих в деревне реалий. В отсутствие же достоверных сведений с мест любой курс, каким бы прагматичным он ни казался, имел под ногами весьма зыбкую почву.

Христофоров утверждает, что «необходимо не отождествлять, но и не отрывая друг от друга идеологические и политические аспекты “контрреформ” с одной стороны, и технологически-административные – с другой» (с. 326–327). В равной степени это касается и эпохи Александра II, а значит, исследование общественно-политической мысли 1860–1870-х гг. продолжает оставаться важным для понимания связи идеологии и государственного управления. В 1990-е гг. перед японскими историками открылись двери российских архивов, и интерес к идейным исканиям заметно ослаб, поскольку, как могло показаться, они уже и так были изучены вдоль и поперек. Однако сейчас история идеологий актуальна как никогда. Дело в том, что понимание и оценка историками реформаторских идей прошлого заведомо не может быть идентичной в стабильных 1970-х (в СССР – эпоха Брежнева, в Японии – период «единоличного» правления Либерально-демократической партии) и в бурных 1990-х гг.

Ныне идеология не рассматривается как нечто раз и навсегда устоявшееся, исследуется её внутреннее, глубинное разнообразие. Однако чётко определить мировоззренческие позиции и взгляды на крестьянскую реформу представителей интеллигенции 1850–1870-х гг. далеко не просто. По мнению Христофорова, принципиальное размежевание проходило тогда между классическими либералами – приверженцами индивидуализма, рационализма и развития частной собственности в деревне, и «романтиками», проповедовавшими идеи

общинности, а также в зависимости от ответа на вопрос: допускать ли опеку помещика над крестьянами, и если нет, то усиливать ли степень вмешательства государства в жизнь общин или же положиться на крестьянское самоуправление? Принимая во внимание скудость административных ресурсов, находившихся в распоряжении правительства, ему не оставалось ничего другого, как пойти по пути невмешательства (что всячески поддерживалось сторонниками общинного землевладения). Правительство таким образом уклонилось от проведения налоговой реформы, сохранив принцип круговой поруки при сборе подушной подати и выполнении повинностей. Модернизация же административно-правовой инфраструктуры в итоге была отложена в долгий ящик.

На этом основании можно сделать вывод о том, что Положения 19 февраля 1961 г. далеко отстояли от идей классического либерализма, в соответствии с которыми следовало предоставить каждому крестьянину свободу выхода из общины и возможность превращения в частного собственника. Причём, как показывает Христофоров, наиболее последовательно, хотя и безуспешно, свободные экономические отношения в деревне отстаивала именно «аристократическая партия», заклеимённая в советской историографии за «крепостничество». Действительно, разница между «аристократами» и либералами (например, кружком А.М. Унковского) в период подготовки реформы 1861 г. была не столь велика.

Однако, говоря о либерализме, не стоит ограничиваться лишь постулатами классического либерализма с его «зацикленностью» на индивидуализме. Либерализм – понятие намного более многоликое и исторически обусловленное. В России в эпоху Великих реформ для либералов были свойственны прежде всего предпочтение политического компромисса абстрактным теориям, а также неспешность и осмотрительность в принятии решений. И то, и другое отличало Ю.Ф. Самарина, из всех членов славянофильского кружка наиболее активно участвовавшего в составлении проекта Положений 19 февраля 1861 г. Самарин считал, что реформа не сводится к простой перестройке системы, и завершённой её можно будет считать лишь тогда, когда удастся, потратив не один десяток лет, построить отношения взаимного доверия между крестьянами и помещиками. В реформе 1861 г. он видел прежде всего фундамент будущего гражданского общества. По словам Христофорова, во взглядах Самарина проявился «либеральный потенциал славянофильства» (с. 182), однако скорее они всё же характеризовали самого Юрия Фёдоровича.

Если понимать «либерализм» широко, не будет ошибкой приписать его и П.А. Валуеву, позиция которого имела много точек соприкосновения с идеями «аристократической партии» (кроме того, нужно учесть его идеи по поводу политического представительства и религиозной терпимости). Между тем мнения Самарина и Валуева расходились и в крестьянском, и в польском и остзейском «вопросах», и в отношении представительных учреждений. Попытки же уложить их столкновения в рамки «партийного» противостояния Редакционных комиссий и «аристократической оппозиции» грозят упущением многих мелких, но тем не менее важных деталей. По сути, убеждения Валуева и Самарина оказываются сложнее любых классификационных схем.

Не стоит воспринимать «либерализм» как некую устоявшуюся идеологию, игнорируя его внутреннее разнообразие. Прежде всего, это была жизненная позиция, чуждая идеям фундаментализма и предполагавшая приложение непрерывных усилий ради установления в будущем более свободного порядка.

Конечно, в таком случае сам термин «либерализм», возможно, и не вполне уместен. И всё же российским историкам, в большинстве своём склонным писать о личностях, проповедовавших некие самобытные идеи или занимавших какие-то радикальные позиции, будет полезно обратить внимание и на тех, кто предпочитал не спеша, камень за камнем, мостить для России дорогу к прогрессу. Самарин хорошо знал историю Пруссии, Валуев обращался к примеру Англии, но каждый из них находил в том или ином опыте других стран прежде всего что-то необходимое для специфических условий России.

Однако российское общество не хотело ждать, пока появятся первые положительные результаты преобразований. Масла в огонь подливали и набравшие в то время силу панславизм и национализм. Связь крестьянской реформы и национализма является безусловно важной и недостаточно изученной проблемой. Выбор языка обучения, контроль над образованием, унификация и рационализация административной и судебной систем часто переплетались с «крестьянским делом». С восшествием на престол Александра III русификаторство привело к многочисленным конфликтам, ещё больше запутав клубок политических и идеологических противоречий в России.

В заключение хотелось бы сказать несколько слов о перспективах сравнения исторических процессов, происходивших в России и Японии во второй половине XIX – начала XX в.⁹ Контраст, который возник между Россией и Японией начиная с 1881 г., заслуживает особого научного исследования. Япония в 1880-е гг. пережила ряд крупномасштабных политических реформ, за какой-то десяток лет полностью изменивших жизнь страны. В 1881 г. японское правительство, пообещав своему народу через 10 лет созвать парламент, взяло официальный курс на «постепенное продвижение к установлению конституционного строя». Выдающийся деятель Эпохи Мэйдзи – Ито Хиробуми пересёк океан для изучения конституций Старого света и поиска среди них наиболее подходящей для Японии. Как известно, в качестве образца была выбрана Пруссия. Тут же полным ходом началось строительство новой административной системы. В 1885 г. был образован кабинет министров (Ито стал первым японским премьер-министром), в 1889 г. – обнародована конституция Японской империи, а в 1890 г. состоялось первое заседание парламента, стены которого в последующие несколько лет стали свидетелями ожесточённого противостояния правительства и оппозиции. Александр III наблюдал за ним из Петербурга не без доли сарказма. Однако после начала в 1894 г. японо-китайской войны парламент единодушно одобрил проект военного бюджета, который был до тех пор камнем преткновения, а победа Японии окончательно закрепила парламентский строй. Поэтому когда во второй половине 1890-х гг. Япония и Россия «столкнулись» в Маньчжурии, в них господствовали уже абсолютно разные режимы. Любопытно, что С.Ю. Витте, осуществлявший «модернизацию» императорской России и фактически направлявший её политику на Дальнем Востоке, высоко оценивал Александра III как ярого защитника самодержавия.

На первый взгляд, работа Христофорова не имеет прямого отношения к этим сюжетам, но при детальном рассмотрении в ней можно обнаружить много полезного для сравнения положения России и Японии в Новое время и, соответственно, для изучения истории северо-восточной Азии в целом.

⁹ См. также: *Black C.E. et al. The Modernization of Japan and Russia: a comparative study. N.Y., 1975.*

Вышедшая в год 150-летнего юбилея отмены крепостного права книга И.А. Христофорова – редкий в нашей исторической литературе пример исследования, охватывающего две вроде бы смежные, но на самом деле довольно обособленные области – аграрную историю, традиционно понимаемую как изучение социально-экономических реалий деревни, и историю внутренней политики. Надо сказать, что после интенсивного, хотя во многом и одностороннего освещения аграрной (по преимуществу «крестьянской») тематики в советское время настала, по-своему логично, пора отчуждения историков от того, что слишком уж гнетёт к земле. История крестьянства как таковая, с её сетью региональных школ, меньше пострадала от этой смены приоритетов, а вот изучение аграрной политики и мысли решительно обмелело, несмотря на перестроечный всплеск интереса к реформаторам и открывшиеся в 1990-е гг. возможности методологической переоснастки и расширения проблематики. Западная историография реформ в Российской империи, которая в те же годы продолжала, пусть и менее бурно, чем в 1970–1980-х гг., развиваться и усложняться, известна теперь отечественным исследователям лучше, чем прежде, но всё ещё воспринимается достаточно отчуждённо. Попытки то одного, то другого историка (включая автора этих строк) оживить российские дискуссии о власти и крестьянстве в имперскую эпоху давали слабый эффект. И хотя пока не ясно, изменит ли ситуацию книга Христофорова, уже вполне очевидно, что это серьёзная заявка на обновление историографической повестки дня.

В чём именно мне видится новаторство данной работы? Большинство предшественников Христофорова, пытавшихся навести мосты между «тяжёлой» историей аграрной экономики и социальных структур и «лёгкой» историей политики, идеологии и дискурса, прибегали к прямой корреляции, априорно проецируя исторические знания, накопленные в одной области, на предмет исследования в другой. К примеру, если историки-клиометристы вычислили, что крестьянское хозяйство в середине XIX в. обеспечивало уже больше половины товарного производства зерна в стране, почему бы не допустить осведомлённость об этом обстоятельстве и государственных деятелей того времени? Подобные допущения легко приводили к модернизации (или, напротив, архаизации) ментальности и побудительных мотивов реформаторов и экспертов, и шире – образованных *некрестьян*, подступавших к миру деревни со своими собственными вопросами, предубеждениями и надеждами. В чём-то современники эпохи реформ могли далеко отставать от будущих историков, а в чём-то быть проницательнее их, но в любом случае это был иной взгляд. Для того, чтобы понять его, Христофоров реконструирует целую систему идеологических и культурных «фильтров». Таковыми были представления о крестьянине, навязанные западной наукой XIX в. или отечественным славянофильством, аксиоматические суждения о земельной собственности и сельском хозяйстве, прочие стереотипы, популярные идеи и клише (иногда эту роль играли сам обороты речи, влипшие в лексикон бюрократии, вроде «прочного обеспечения землёй» или «предупреждения язвы пролетариата»). Всё это сложным и изменчивым образом определяло угол зрения представителей власти, вникавших в проблемы аграрного развития, вызывало интерес к одним статистическим данным и фактам и пренебрежение другими, а нередко и подменяло собою экспертную оценку вроде бы так старательно собранных эмпирических сведений. Анализу

того, как работали эти фильтры, посвящено немало страниц в «Судьбе реформы», и это очень увлекательное чтение.

Христофоров, по-видимому, сознательно отказывается от привычного в отечественной литературе индуктивного способа повествования и аргументации, когда тот или иной вывод преподносится как итог последовательного, шаг за шагом, рассмотрения некоего, почему-либо признанного репрезентативным, количества конкретных фактов¹⁰. Он обращается к частным случаям и локальным эпизодам, используя их не как кирпичики для построения нарратива или случайные иллюстрации некоторого тезиса, а как ключи к углублённой интерпретации мышления и действий представителей власти. Говоря о соотношении исследования местных практик с изучением «процесса формирования политического курса», автор описывает свой метод посредством метафоры: «Мне кажется важным постоянно иметь в виду и учитывать этот микроуровень и по мере возможности “сталкивать” его с уровнем столичных канцелярий» (с. 20). Этот приём требует немалой доли исследовательской интуиции и чутья на взаимосвязь разновеликих и разномастных следов прошлого. Именно свобода от риторических штампов помогает автору выявить тот пласт *собственно аграрной* проблематики, который ранее во многом ускользал от внимания исследователей реформ¹¹.

Центральный сюжет «Судьбы реформы» – это парадоксальная история о том, как вплоть до столыпинских времён в ходе аграрных преобразований в России наименьшее внимание уделялось именно землеустройству и агрикультуре. Христофоров объясняет эту череду неудач и откровенных провалов прежде всего отсутствием или вопиющей слабостью инфраструктуры (слово из времён новейших, но автор употребляет его корректно, не плодя анахронизмов). Имеется в виду и примитивность налогообложения, и неспособность властей осуществить полномасштабные и тщательные межевание и кадастр угодий, и бедность технических ресурсов и управленческих навыков, потребных для действительного регулирования хозяйственных отношений между помещиком и бывшими крепостными, и нехватка элементарной статистической информации, и хронический дефицит надёжных чиновников на низовом уровне – словом, различные грани того феномена, который может быть охарактеризован как слабое проникновение государства в повседневную жизнь людей на бескрайних сельских просторах. Сама по себе отмена крепостного права, даже с наделением крестьян землёй, не могла изменить такое положение вещей – напротив, для того чтобы стать *настоящим* освобождением с превращением крестьян в полноправных земельных собственников, реформа 19 февраля 1861 г. должна была бы сопровождаться, если не предваряться, целой серией сложных землеустроительных мероприятий.

Что же могли с этим поделать реформаторы? В книге анализируется череда характерных ситуаций, когда высокопоставленные, наделённые солидными полномочиями бюрократы, более или менее ясно осознав себя заложниками этой технологической и управленческой немощи, словно бы прятали от себя

¹⁰ См., например, очень важную для своего времени монографию: Чернуха В.Г. Крестьянский вопрос в правительственной политике России (60–70-е годы XIX в.). Л., 1972.

¹¹ В середине 1990-х гг., открыв для себя эти сюжеты в ходе изучения деятельности Редакционных комиссий по крестьянскому делу 1859–1860 гг., я долго искал убедительный способ описания агротехнической стороны реформы, которая в тогдашней общественной атмосфере ещё острее, чем прежде, воспринималась как почти исключительно «политическая борьба».

и от других своё бездействие, пускаясь в отвлечённые дебаты или выступая с обобщёнными прогнозами, допускающими различные прочтения, и предложениями обо всём и ни о чём. Иногда злоупотребление камуфлирующей риторикой доходило до комизма – поразительно, например, цитируемая автором фраза из доклада управляющего Межевым корпусом И.М. Гедеонова о трудностях разверстания помещичьих и крестьянских земель после освобождения: «Всякая точно определённая мера... может вызвать новые затруднения... [Надо] предоставить решение вопроса времени и естественному ходу обстоятельств... Крестьяне в обиде не останутся. Когда придёт межевание, они как собственники своё, за что заплатили деньги, возьмут сполна» (с. 245). Прибегнув к популярной в тот момент идиоме благотворного невмешательства в жизнь крестьянства, Гедеонов хотел создать успокоительное впечатление (мол, «всё образуется»), но, вероятно, уже тогда его «возьмут сполна» звучало как зловещее пророчество.

Проблема инфраструктуры тесно связана в монографии с размышлениями о соотношении замысла и исполнения реформ. Автору удаётся убедительно доказать, что скудость административных ресурсов (или убеждённости в такой) негативно отозвалась на многих правительственных попытках хоть как-то заняться именно *земельными* делами в рамках решения аграрного вопроса. И происходило это независимо от политических убеждений реформаторов или «контрреформаторов» и вкладываемого ими в свою политику социального смысла. Кадастр в государственной деревне 1840-х гг., планы разверстания помещичьих и крестьянских угодий в законодательстве Редакционных комиссий 1859–1860 гг., замысел привести выкупные платежи в точное соответствие с ценностью земли в ходе корректировки Положений 19 февраля 1861 г. на рубеже 1870–1880-х гг., меры по консервации общинного землевладения и сословной изоляции крестьян спустя ещё одно десятилетие – все эти разнонаправленные начинания быстро теряли первоначальную энергию, стопорились или вовсе обрывались во многом вследствие того, что на их пути вставали «всего лишь» технические препятствия.

Однако порою в обобщениях автора книги звучит нота фатализма, которую трудно принять. «Административно-правовой дуализм, изолированность крестьянства от прочих сословий не просто препятствовали унификации, – отмечает он в заключении, – но ещё и делали реформы в деревне трудноосуществимыми технически. Любые преобразования предполагали унификацию, регламентацию и рационализацию той сферы, которой они касались... Но в деревне с её обычным правом и традиционной автономией общин всё это было невозможно... Все остальные особенности инфраструктуры в деревне во многом подпитывались изолированностью крестьян... Эта инфраструктура абсолютно не соответствовала масштабности и сложности задач, вставших перед государством после отмены крепостного права. В результате фактическое “отсутствие” государства в деревне в 1860–70-е гг. не выглядит удивительным. Если некоторых из лидеров Редакционных комиссий (например, Н.А. Милютина) и можно с оговорками считать “дирижистами”, то нельзя не признать, что у них при всём их желании не было бы никаких шансов на то, чтобы последовательно направлять развитие деревни в какое бы то ни было русло» (с. 352–353). Не иначе как приговор! При этом и чуть ниже в заключении, и в других местах Христофоров указывает, что поколение реформаторов 1860-х гг. отличали гораздо больший прагматизм и меньшая «склонность

к априорным догмам» (с. 355) по сравнению со сменившей их при Александре III когортой «контрреформаторов». Но так ли это важно, коль скоро и те, и другие, и все остальные попадали в замкнутый круг безличных факторов, в котором социальная обособленность крестьян и неразвитость управленческой инфраструктуры взаимно усугубляли одна другую? Боюсь, воле реформатора к реформе здесь оставлено место несущественной величины.

Вообще читателю может показаться, что в «Судьбе реформы» речь идёт едва ли не о *детерминизме* инфраструктуры, хотя такое впечатление противоречит нюансированному анализу поступков и умонастроений конкретных деятелей и возникает скорее от стиля аргументации, чем от сути самих аргументов. Христофоров первым в отечественной литературе осветил значение инфраструктуры для аграрного администрирования в столь длительный период времени. Понятно его стремление подчеркнуть важность этой проблемы. Но иногда созданный им образ деревни как далёкого, «инакового» мира становится самодовлеющим. Мысль о недостижимости сельской жизни для регулирования и даже наблюдения со стороны власти оказывается вдруг созвучна славянофильскому постулату о культурной пропасти между дворянством и крестьянством, хотя отправная точка Христофорова совсем другая, «технократическая» – он стремится показать политически и идеологически нейтральные параметры реформы. Желал того автор или нет, но в книге присутствует мотив фатальности аграрных противоречий и, больше того, непознаваемости сельского мира.

Анализируя те или иные шаги реформаторов, Христофоров спешит зафиксировать крупномасштабные, «эпического» калибра трудности и противоречия, отчего уходит на задний план тот уровень реальности, где от предложений и решений чиновников всё же что-то зависело, и порой немало. В самой концепции и содержании Положений 19 февраля 1861 г. Христофоров выявляет столкновение двух «парадигм восприятия крестьян» (с. 9) – восходящего к славянофильству романтического образа крестьянства как органического целого, с одной стороны, и рационалистического, менеджерско-бюрократического представления о необходимости вторжения государства в жизнь крестьян для их же блага, – с другой. Иными словами, модель «невмешательства» сталкивалась и в чём-то сцеплялась с моделью «опеки» (с. 352, см. также с. 262–263, 353–354). При этом автор подчёркивает, что оба образа крестьянства были по сути мифологизированными, слабо соотносились с реальностью и мало могли на неё повлиять. Формулируется это с присущим Христофорову изяществом, тезис доказывается обстоятельно и последовательно. В частности, указывается и то, что сами понятия «опеки» и «невмешательства» истолковывались по-разному и скрещивались между собой (к примеру, целью интервенции государства могло мыслиться и конструирование нового, и охранение старого). Тем самым автор предостерегает историков от буквального прочтения данной дихотомии.

Всё это так, однако эта коллизия смыслов, приписывавшихся современниками реформе, чётко обрисовалась чуть позднее, в ходе растянувшихся на десятилетия споров о её сути и «заветах» Редакционных комиссий. Сам Христофоров очень метко называет реформу «необычайно открытой для интерпретаций и зависимой от них» (с. 176). Но для стадии непосредственной разработки Положений 19 февраля 1861 г., для пресловутой «кухни» или «лаборатории» реформаторов конца 1850-х гг. актуальнее был более приземлённый, но и более динамичный конфликт. Им приходилось выбирать между вариантом, при котором

мало-мальски планомерное землеустройство предшествовало бы оформлению крестьянских прав собственности, и установкой на форсирование выкупной операции, присваивавшей крестьянам в составе общины номинальный статус собственника и тем самым создававшей иллюзию «развязки» векового узла. При этом от попыток выработки норм закона, достаточно гибких для того, чтобы уловить неоднородность крестьянства и дать некоторый простор различным типам социального и экономического поведения крестьян после эмансипации, реформаторы соскальзывали к собирательно-обобщенному восприятию крестьянской массы, что тут же отражалось в законотворчестве. Характерно, что, склонившись к ускорению этой развязки, реформаторы постарались усилить у публики впечатление совершенной неисполнимости тех самых подготовительных мероприятий, которые ещё вчера они пытались включить в законопроект (соотнесение повинностей с ценностью наделов, обязательное разверстание помещичьих и крестьянских наделных земель, регулирование сервитутов, и др.)¹². Разумеется, по ходу дебатов разработчикам Положений, как показывает автор, стал яснее масштаб объективных, инфраструктурных препятствий. Но дело было не только в этом, да и едва ли понимание таких вещей приходит как озарение. Причина ревизии первоначального замысла состояла ещё и в том, что образ творцов закона, разом (как бы разом) освобождающего именем царя огромную массу «народа», «дарующего» всем земельный надел за вроде бы умеренную повинность, да ещё без всякого мелочного, «прусского» регламентаторства в каждом отдельном имении, оказался очень притягательным для этой талантливой и амбициозной группы бюрократической элиты. И лидеры Редакционных комиссий не лицемерили, когда ближе к завершению своих трудов начали изображать недостаток землеустроительной регламентации в российской (особенно великорусской) деревне не как проблему, требующую решения, а как великое достоинство и подспорье освобождению. «На эмансипацию не потребуется у нас полвека, – писал И.П. Арапетов Д.А. Милютину в октябре 1859 г., – потому что вопрос теперь же стал в чистоте – освобождение с землёю за выкуп от правительства, тогда как в Германии, прежде мысли о выкупе и отчуждении, долго и долго регулировали рабочие повинности»¹³.

В эту новую «парадигму восприятия» прекрасно вписывалось предубеждение столичных бюрократов и образованных богатых помещиков против мелкого чиновничества, ссылки на несостоятельность которого стали общим местом в рассуждениях реформаторов о реализации реформы. Так составить проект, чтобы его осуществление на практике минимально зависело от низовых агентов власти, стало для лидеров Редакционных комиссий делом чести. В данном контексте слабость инфраструктуры, в частности, административного аппарата, становилась «самоисполняющимся пророчеством», и спустя полтора столетия историк, пытающийся измерить степень присутствия государства в сельском мире, должен помнить, что он, возможно, смотрит на эту реальность отчасти сквозь призму стереотипа, согласно которому «там, внизу, не на кого опереться».

¹² Подробнее см.: Долбилов М.Д. Земельная собственность и освобождение крестьян // Собственность на землю в России: история и современность. М., 2002. С. 45–152. См. также: *он же*. Аграрный вопрос // Общественная мысль России XVIII – начала XX века. Энциклопедия. М., 2005. С. 11–15.

¹³ ОР РГБ, ф. 169, к. 56, д. 56, л. 20 об.–21. Ср. цитируемое Христофоровым красноречивое высказывание на эту тему Ю.Ф. Самарина (с. 183).

Из этого вовсе не следует, что, прояви реформаторы 1861 г. больше терпения и прилежания, подобающего хладнокровным экспертам, и меньше политического азарта – и в освободительное законодательство непременно вошла бы существенная компонента землеустройства. Речь скорее о том, что динамика реформаторских замыслов лучше уясняется именно в таких точках отказа (не обязательно полного) от рациональной бюрократической экспертизы в пользу политики, идеологии или символической саморепрезентации. Вглядываясь в мотивы реформаторов на этих поворотах, мы, может быть, глубже проникнем в механизмы, посредством которых априорные схемы мышления бюрократии как-то сопрягались с её эмпирическим знанием. Пока, во всяком случае, я не готов вслед за Я. Коцонисом признать себя совершенным пессимистом в отношении *шансов* имперской власти на зрячее внедрение в стихию сельской жизни, постепенное преодоление кастовой изоляции крестьянства и превращение деревни в сообщество полноправных граждан.

Наталья Горская: Так ли «непрозрачен» был крестьянский мир?

Книга И.А. Христофорова существенно расширяет представления о путях реализации реформы 1861 г. и об альтернативных подходах к решению ключевого для российской истории крестьянского вопроса. В ней много сюжетных линий, смысловых акцентов, обоснованных выводов, показывающих всю сложность и противоречивость «аграрной» проблематики, рассматриваемой в контексте не только отечественной, но и западной историографии. Особое внимание автор уделяет тому, что он называет «инфраструктурным фактором» (землеустройство, налогообложение, статистика, оформление прав собственности и правовая система в целом), который действительно имел решающее значение для успеха аграрных преобразований, поскольку «инфраструктурная отсталость деревни» сдерживала куплю-продажу земли, выход из общины.

Характеризуя крестьянский мир как «замкнутый» и «непрозрачный» (с. 18), автор полагает, что земства и суды, как и другие «административные» структуры, не обеспечивали «реальный контроль» над ситуацией в деревне и не уменьшали изолированности крестьянского мира. Тем самым он если и не отрицает, то сводит к минимуму влияние земской и судебной реформ на жизнь пореформенной деревни. В частности, по его мнению, «Земское положение создавало параллельную “казённой” систему обложения, что ещё больше усложняло и без того запутанные фискальные реалии того времени» (с. 225). Тем не менее земства всё же научились составлять сметы и раскладки, исходя из суммы необходимых расходов и финансовых возможностей уездов. Поскольку основным источником земского бюджета были так называемые окладные сборы (налоги с недвижимых имуществ), земства вынуждены были самостоятельно искать способы «правильного» обложения. При этом они не только стремились к его уравнительности «согласно ценности и доходности» имущества, как того требовало Земское положение, но и в значительной степени достигли этого благодаря уникальности своих статистических работ.

Все попытки правительства контролировать земское обложение потерпели фиаско именно потому, что чиновникам не удавалось справиться с оценкой земли. В конце концов достижения земской статистики недвижимости были официально признаны и закреплены 1893 г. в законе «О производстве оценочных работ». Земские статистики отказались от оценки земли на основании

выкупных норм Положений 19 февраля 1861 г. (как это делалось в первые два десятилетия) и арендных цен, а также от подесятинного обложения, выгодного помещикам, или деления на «населённые» и «ненаселённые» участки. Доходность определялась в основном исходя из выручки и затрат, отдельно для различных видов угодий и разных полос уездов. И всего этого земство добилось самостоятельно. В его статистических работах также имелись изъяны (например, оценивались лишь фабричные и торговые помещения без учёта продукции), однако в целом земства формировали свои бюджеты на основе довольно достоверных расчётов. Постоянное же накопление недоимок по земским повинностям объяснялось недостаточностью полномочий земства как «хозяйствующего субъекта». К тому же, не платили не только крестьяне, но и дворяне. Так или иначе, к 1913 г. земства увеличили свои бюджеты в 50 раз, что едва ли было возможно при «непрозрачности» крестьянского мира для органов местного самоуправления.

Земства постоянно вели текущие статические работы и регулярно инициировали единовременные исследования по многим отраслям земского хозяйства, что позволило им внести постепенность и плановость в свою деятельность. Ещё в 1870–1880-е гг. было осуществлено подворное обследование крестьянских хозяйств 178 земских уездов. Оно проводилось с помощью бланков, которые заполнялись на каждое селение и двор (последние обнародовались для уточнения на сельском сходе в присутствии земских статистиков). Заслуги земства в области статистики высоко оценивались учёными (в том числе Н.Х. Бунге).

В полном соответствии с теорией Адольфа Кетле, о которой пишет Христофоров, земская статистика имела не только прикладной характер, но была направлена на решение и социальных задач. Конечно, земства не сразу встали на ноги, но проделали это за очень короткий срок. Разумеется, автор книги прав, говоря, что в первые два десятилетия своей деятельности они не добились существенных успехов в помощи крестьянскому хозяйству, а со второй половины 1870-х гг. действительно наблюдался «застой» земской жизни. Безусловно, земцы совершали серьёзные ошибки (например, при организации земских банков), а многие их мероприятия страдали разрозненностью. Но без этого подготовительного периода не могло быть ощутимых успехов 1890-х гг. и начала XX в. При этом едва ли не все земские программы были предназначены в первую очередь для крестьян (обязательное страхование от огня, участковая медицина, ветеринарная и агрономическая помощь, мелкий кредит, кооперативы, сельскохозяйственные выставки, разного рода показательные работы и курсы, школьное и внешкольное образование, и т.д.). На эти цели, в которых выражалась просветительская миссия образованных сословий в отношении крестьян, тратились не только бюджетные средства, но и специальные капиталы, составленные в результате правильно организованной финансовой политики. Уже в 1890-е гг. размах земской социально-культурной и хозяйственной деятельности был очевиден. Конечно, не везде он был одинаков, сказывались региональные особенности, да и финансовые возможности уездов существенно различались.

Сословные отношения внутри земства были неоднозначны. Но едва ли можно говорить о «господстве дворян» в земских собраниях и о том, что благодаря Земскому положению 1864 г. «правовая и административная изолированность крестьян... возводилась в норму» (с. 223). Как бы ни были «безгласны» крестьяне, они всё же составляли значительную часть гласных уездных собраний (а

в ряде уездов имели большинство) и иногда даже избирались председателями и членами управ. Порой крестьяне становились «деловыми» партнёрами земства. Так, при организации «обязательных повинностей» в случае перевода их из «натуральных» в «денежные» (починка дорог, содержание правительственных и земских зданий, почтовая служба), земство в 1880-е гг. выступало в качестве частного юридического лица и заключало сделки с представителями разных сословий, включая крестьян.

Говоря о земстве, следует отметить, что в восприятии крестьян это были не только гласные, но и непосредственно работавшие в деревне ветеринары, страховые агенты, агрономы, заведующие сельскохозяйственными складами, учителя, фельдшеры и т.д. Пожалуй, в истории России нет другого учреждения, которое имело бы такую богатую литературу, созданную его служащими. Состояние крестьянского хозяйства было им хорошо известно, хотя степень открытости сельских обществ зависела от множества самых разнообразных факторов: географических (близость к городам), экономических, религиозных и др. Но разве через земства не реализовывались потребности «стандартизации, рационализации и контроля», которые, по мнению автора книги, «независимо от риторической и идеологической оболочки» лежали в основе «любых реформаторских планов в аграрной сфере» (с. 50)?

Мировой суд был ещё одним и весьма существенным каналом связи крестьянина с внешним миром. В уголовных делах роль волостного суда была невелика, поскольку он разбирал только незначительные правонарушения («проступки»), контролируя обыденное поведение крестьян с позиций традиционной этики. Все же «преступления» относились к юрисдикции всесословных судов (мирового или, в зависимости от тяжести дела, окружного с участием присяжных заседателей). В гражданских делах всё было значительно сложнее, так как крестьянские обычаи признавались равноценными государственному закону, а волостным судам предоставлялось право рассматривать иски на довольно большую сумму. Но право выбора суда, договоры с лицами других сословий, характер и место заключения сделки давали крестьянам возможность обращаться в общие суды, выходя за пределы сельского мира. При этом как земства, так и суды не допустили массированного вмешательства государства в деревенскую жизнь, противодействуя бюрократизации и дворянскому влиянию на местах, усилившемуся лишь после контрреформы 1889 г., ликвидировавшей мировой суд в уездах.

Дитрих Байрау: То, что поначалу «умиротворяло», со временем превратилось в проблему

Исследование И.А. Христофорова о «судьбе» крестьянской реформы 1861 г. опирается на долгую историографическую традицию. В новейший период отправными точками в ней стали труды П.А. Зайончковского и Л.Г. Захаровой, исследовавших преимущественно действия лиц и институтов, разрабатывавших и осуществлявших преобразования, а также их критиков. При этом Зайончковский и его последователи не вписывали их в более широкий международный и экономический контекст. По мере возможности они дистанцировались от идеологических установок тогдашней советской историографии, в соответствии с которыми отмену крепостного права следовало рассматривать как этап в процессе «перехода от феодализма к капитализму» и «побочный продукт»

якобы сложившейся на рубеже 1850–1860-х гг. революционной ситуации¹⁴. Аграрные отношения, состояние и уровень коммерциализации помещичьих и крестьянских хозяйств, влияние на них начинавшейся индустриализации и т.д. изучались и в рамках экономической истории¹⁵. Имеются также работы, освещающие особенности традиционного сельского хозяйства¹⁶.

Христофоров уделяет основное внимание позициям деятелей реформ и «контрреформ». По его мнению, они действовали, исходя из своих предрассудков и представлений о сельской России, распространённых с 1840-х гг. и в самой Российской империи, и за рубежом. Отвлечённые размышления об условиях деревенской жизни и ее будущей трансформации влияли на их взгляды сильнее, чем реальные знания или даже практический опыт помещиков, если таковой у кого-то из них имелся (тем самым Христофоров высказывается в пользу относительной автономности политической деятельности, отнюдь не являвшейся непосредственным отражением экономической конъюнктуры). Представителей элиты вдохновляли европейские идеи, заимствованные как из либеральных, так и из консервативных национально-романтических теорий (особенно в том, что касалось общины). В дискуссиях вокруг произведений А. де Токвиля и Дж. С. Милля обсуждались дилеммы «реформа или революция», «государство и общество», «свободный или принудительный труд», «централизация или самоуправление». Однако воспитанным по-европейски русским реформаторам приходилось принимать решения в условиях, глубоко отличных от существовавших в Западной Европе.

Принципиально новым в подходе Христофорова является то, что он определяет рамки, ограничивавшие возможности власти. Как реформаторы, так и позднее контрреформаторы просто не имели в своём распоряжении инструментов, с помощью которых можно было бы реально изменить положение на местах. Реальность сопротивлялась и не поддавалась воздействию со стороны государства и бюрократии, которые в известной мере висели в воздухе, не имея опоры ни в сельских общинах, ни в помещичьих имениях. Характерно, что одной из главных причин, препятствовавших появлению крестьянской частной собственности, автор считает отсутствие в стране системы земельного кадастра и достаточного количества профессиональных землемеров, способных провести межевание¹⁷. Для землеустройства требовалась также густая сеть

¹⁴Историки на Западе с интересом наблюдали за дискуссиями того времени, так как занимались похожими темами. Англоязычная историография исчерпывающе представлена в книге Христофорова. Из общих немецких работ см., например: *Handbuch der Geschichte Russlands*. Bd. 3. Teil 1–2. Von den autokratischen Reformen zum Sowjetstaat / Hg. G. Schramm. Stuttgart, 1983–1992.

¹⁵Ковальченко И.Д., Милов Л.В. Всероссийский аграрный рынок. XVIII – начало XX века. Опыт количественного анализа. М., 1974.

¹⁶Confino M. Systèmes agraires et progrès agricole. L'assolement triennale en Russie aux XVIII–XIX siècles. Etude d'économie et de sociologie rurale. P.; La Hague, 1969; *Gutsherrschaftsgesellschaften im europäischen Vergleich*. Berlin, 1997.

¹⁷К сожалению, говоря об отсутствии в XIX в. земельного кадастра, автор не уточняет, откуда именно взялись бытующие в литературе цифры увеличения или сокращения крестьянских наделов, коль скоро они почти никогда не измерялись. Для выяснения этого стоило бы спуститься из петербургских сфер и проследить на конкретных примерах, как именно после 19 февраля 1861 г. достигались договорённости о разделении крестьянских и помещичьих земель и размере выкупа. Как известно, этой теме посвящено бесчисленное количество советских исследований, задача которых состояла в том, чтобы доказать грабительское изъятие земли у крестьян. Несмотря на сомнительность приводимых в них данных о реальных приобретениях и потерях хозяйств, выяснить их происхождение было бы всё же интересно.

арбитражных институтов, которые невозможно было создать за короткий срок. Вплоть до отмены крепостного права традиционная, в значительной степени натуральная экономика помещичьих и крестьянских хозяйств не позволяла монетизировать повинности крепостных и оценить землю в соответствии с (несуществующими) рыночными критериями. Поэтому, как справедливо указано в книге, после реформы 1861 г. крестьяне фактически выкупали не землю, а *тягло* (личную повинность), что на долгие десятилетия запутало отношения казны, общин и отдельных домохозяев.

Эти проблемы и трудности тщательно разобраны Христофоровым. Именно они, по его мнению, помешали превращению бывших крепостных в самостоятельных хозяев-собственников. Уже в ходе подготовки отмены крепостного права эта цель (которую, впрочем, изначально разделяли не все реформаторы) была постепенно и незаметно оставлена. Признав отсутствие у государства административных, правовых и финансовых ресурсов для решения данной задачи, лидеры Редакционных комиссий, готовивших Положения 19 февраля, 1861 г., не только сохранили передельную общину, но и ввели круговую поруку даже там, где преобладало подворное хозяйство. Фактически это означало отказ от приватизации крестьянских наделов.

Вследствие этого государство так и не смогло создать в деревне каких-либо дееспособных органов власти. Оно зависело от крайне архаичной системы раскладки налогов, которую осуществляли слабо контролировавшиеся администрацией органы крестьянского самоуправления. Правительство вынуждено было отказаться и от проведения налоговой реформы (как известно, подушная подать сохранялась до середины 1880-х гг., а круговая порука – до 1903 г.). Христофоров приводит новые доводы, свидетельствующие о «слабой институционализации» России по сравнению с Западной Европой и о реальной слабости исполнительной власти, казалось бы, всесильного самодержавия (с. 216). В немецкой историографии эта слабость была показана на примере исполнения воинской повинности после 1874 г., а также привлечения сельских жителей в новые суды¹⁸. И в том, и в другом случае крестьяне и целые сельские общества не раз саботировали требования властей, демонстрируя государству свою «переговорную силу» – иногда вплоть до бунта. Влияние этой силы на действия реформаторов недостаточно учитывается Христофоровым. Между тем именно слабостью посреднических инстанций на местах объясняются периодически вспыхивавшие в деревне волнения. Институт мировых посредников был первой попыткой как-то решить эту проблему. Однако он не получил дальнейшего развития и был ликвидирован. Учреждённые же в 1889 г. земские начальники были крайне несовершенной заменой мировых посредников, поскольку находились под контролем МВД.

Возможно, в книге следовало подробнее рассмотреть «крестьянское движение», поскольку массовые протесты и отказы от подписания уставных грамот были той формой, в которую выливалась тогда «встреча», взаимодействие крестьян и элиты. Хотелось бы больше узнать о том, как в правящих кругах воспринимали эти протесты и примирались с ними. В отчётах флигель-адъютантов, отправленных на места для участия в обнародовании Положений 19 февраля 1861 г., крестьянские возмущения часто расценивались как «недоразумение».

¹⁸ *Baberowski J.* Autokratie und Justiz. Zum Verhältnis von Rechtsstaatlichkeit und Rückständigkeit im ausgehenden Zarenreich 1864–1914. Frankfurt a/M., 1996; *Benecke W.* Militär, Reform und Gesellschaft im Zarenreich. Die Wehrpflicht in Russland 1874–1914. Paderborn, 2006.

С точки зрения офицеров, крестьяне не хотели или не могли понять благих намерений реформаторов. Любопытно также, много ли было единомышленников у министра внутренних дел П.А. Валуева, видевшего в крестьянах «более или менее независимую и беспокойную массу», «которая находится под влиянием опасных и неосуществимых иллюзий»?¹⁹ Как отмечает Христофоров, реформаторы рассчитывали на «созревание» крестьян в ходе преобразований (с. 128). Судя по постколониальному опыту, подобные понятия увековечивают претензии элит на власть, но могут также в долгосрочной перспективе содержать обязательство воспитания и «просвещения». Тем не менее, независимо от акцентов, сельское население оказывалось лишь объектом, который следовало контролировать, эксплуатировать и опекать. Позже это стало устойчивой и благополучно пережившей XIX век моделью отношения к крестьянам не только бюрократии и дворянства, но и интеллигенции²⁰.

Христофоров упрекает исследователей-«крестьяноведов» (представителей «peasant studies») в том, что они мало пишут о контактах бюрократии с деревенским населением. Однако, как убедительно показывает его книга, между крестьянами и элитами существовал столь большой разрыв, что их взаимодействие едва ли вообще было возможно. Сельское и волостное крестьянское самоуправление, изолированное от жизни остального общества, предоставленное самому себе и вовсе не соответствовавшее либеральным идеалам, было обязано своим существованием не столько либерализму правительства, сколько его неспособности обозначить своё присутствие на местах. К тому же, многие реформаторы считали, что оно должно прежде всего вывести крестьян из-под влияния дворянства. Это ясно разглядел закоренелый юнкер О. фон Бисмарк. Совершенно в духе русской «аристократической оппозиции» он резко критически относился к «красным» реформаторам, а в Н.А. Милютине видел «острейший и смелейший дух прогрессистов» и «жесточайшего ненавистника дворянства», представлявшего себе будущую России «как крестьянское государство, с равенством без свободы, но с многочисленной интеллигенцией, промышленностью, бюрократией, прессой, примерно по наполеоновскому образцу»²¹. Действительно, по сравнению с условиями освобождения крестьян в Германии и в Польше в начале XIX в. (от которых, как известно, российские реформаторы отмежевались), в России очень быстро были ликвидированы все формы вотчинной власти. Между тем во многих германских землях даже после 1848 г. помещики сохраняли судебные и полицейские полномочия, а также право назначать священника. По мнению известного британского социолога Баррингтона Мура, лишение российских дворян политической и административной власти стало впоследствии, наряду с управленческой слабостью российского государства, важнейшей предпосылкой «успешной» крестьянской революции²².

Несмотря на то, что ещё Зайончковский в своё время (правда, чисто описательно) изложил ход крестьянской реформы на окраинах, и с тех пор ее им-

¹⁹ Валуев П.А. О внутреннем состоянии России (26 февраля 1862 г.) // Исторический архив. 1958. С. 141–144.

²⁰ Kotsonis Y. Making Peasants Backward. Agricultural Cooperatives and the Agrarian Question in Russia, 1861–1914. N.Y., 1999; Gerasimov I.V. Modernism and Public Reform in Late Imperial Russia: Rural Professionalism and Self-Organisation, 1905–1930. Basingstoke, 2009.

²¹ Nodde B. Die Petersburger Mission Bismarcks, 1859–1862. Leipzig, 1936. S. 185.

²² Moore B.Jr. Social Origins of Dictatorship and Democracy: Lord and Peasant in the Making of the Modern World. Boston, 1966.

перское измерение активно исследуется, взгляд автора книги направлен почти исключительно на великорусские губернии. Западный край упоминается в ней только в связи с инвентарными правилами, введенными Д.Г. Бибиковым для регулирования землепользования и повинностей, а также конфликтами в связи с разверстанием помещичьих и крестьянских земель в 1860–1880-х гг. Но если в центральной России аграрные преобразования до известной степени служили защите крестьянства, в Западном крае и особенно в Царстве Польском после 1863 г. они стали орудием борьбы с местным, преимущественно польским дворянством. Не случайно ведущие реформаторы, объявленные «аристократической оппозицией» «красными» (Н.А. Милютин, кн. В.А. Черкасский, Ю.Ф. Самарин, Я.А. Соловьёв и др.), как, кстати, и некоторые творцы «контрреформ», считали себя защитниками национального «русского дела» и активно отстаивали его в Польше. Более того, Самарин уже с 1840-х гг. выступал против «феодального» господства немецких баронов в остзейских провинциях. Таким образом, умиротворение великорусского крестьянства специфическим образом сочеталось с поддержкой крестьян на окраинах, воспринимавшейся как освободительная миссия. Она должна была привести к унификации империи снизу, направленной прежде всего против польского и прибалтийского, но отчасти и против русского дворянства.

Как и подавляющее большинство западных историков, Христофоров указывает, что по сравнению с реформами начала XIX в. в Центральной Европе отмена крепостного права в России была более благоприятной для крестьян, поскольку не лишала их земли и не подразумевала «расчистки площади» для капиталистической экономики. Но то, что поначалу «умиротворяло», со временем превратилось в проблему. С другой стороны, как позже выяснилось, даже сравнительно традиционные формы сельского хозяйства могли гибко реагировать на требования углубляющейся коммерциализации, а крестьяне сохранили способность к обучению и потенциал для отстаивания своих интересов²³. Хочется надеяться, что изучение крестьянской политики не только как политики в отношении крестьян, но и как политики самих крестьян, будет продолжено.

Анна Комзолова: Национальный и имперский контекст «крестьянского вопроса»

В XIX веке судьба реформ, как известно, волновала не только чиновников, журналистов и историков, но и деятелей искусства. Одной из попыток творчески осмыслить происходившие в то время в деревне изменения стала картина художника-передвижника Г.Г. Мясоедова «Чтение Манифеста 19 февраля». Трогательный псевдореализм этой картины передаёт те образы, которые олицетворяли надежды и сомнения современников, связанные с преобразованиями: крестьянская община, царский указ, тёмные, но мудрые мужики, а также светлое юное поколение, которому предстоит жить в новой России. Эти образы, а вернее, те идеи, понятия и вопросы, которые за ними стояли, по-новому освещены в монографии И.А. Христофорова.

Основное место в ней отводится процессу трансформации государственной политики в деревне от практически «слепого» состояния к значительно более «зрячему», что, по словам автора, требовало стандартизации «сначала

²³ Löwe H.-D. Die Lage der Bauern in Russland 1880–1905. Wirtschaftliche und soziale Veränderungen in der ländlichen Gesellschaft des Zarenreiches. St. Katharinen, 1987.

«картины» социальной действительности, как она представала перед носителями знания / власти, а затем и самой действительности» (с. 30, 50). При этом «чиновники и помещики видели только то, что могли и хотели увидеть», а социальная «оптика» формировала их взгляды и «предоставляла набор категорий для интерпретации увиденного» (с. 29). Такой подход позволяет рассмотреть отмену крепостного права в России в широком контексте – от земельного размежевания до кооперации и от романтического национализма до марксизма – и сделать целый ряд интересных наблюдений, выводов и замечаний.

Размышления Христофорова об особенностях формирования в 1840–1860-х гг. русского «национального проекта» (и прежде всего его социальной стороне) заслуживают пристального внимания. По мнению автора, ключевым элементом этого проекта, придававшим ему уникальность, было наделение русских крестьян совершенно определёнными социальными характеристиками – чертами общинников, неразрывно связанных с землёй. Соответственно сферой реализации такого проекта могла быть преимущественно «коренная» Россия, поскольку на западных окраинах империи не знали передельной общины (см. с. 87–99). Видя в общине своеобразный «маркер» «русскости», автор сближает её с представлениями о «национальном государстве» с его гомогенной нацией и унификацией социального пространства. Однако интересно было бы рассмотреть, каким образом идея общины, положенная в основу национальной мифологии, могла преломляться в имперской перспективе, где сословная неоднородность общества многократно усиливалась благодаря религиозным, языковым и прочим отличиям. Вопрос о роли социального конструирования и «маркеров» в формировании русского «национального проекта» требует более детального исследования и обсуждения.

В книге прослеживается, как ситуативные решения, рутинные заботы, повседневная бюрократическая деятельность (и бездействие) «форматировали» крестьянскую реформу, характеризуются противоречиво сочетавшиеся в правительственной политике стратегии «опеки» и «невмешательства». Вместе с тем, анализируя работу, можно «заподозрить» автора в несколько идеализированных рационалистических представлениях о государстве, согласно которым свою миссию оно должно выполнять, получая «идеологически нейтральную» информацию, а вершиной его преобразовательной деятельности является правильная налоговая реформа. Автор сосредоточился на том, что государство могло видеть, и на том, какую информацию могло получать. Однако существует и символическая составляющая власти, о которой, в частности, писал П. Бурдьё²⁴. Она предполагает, что власть может изменять само видение мира, заставляя видеть и верить в то, что она утверждает. Как мне представляется, «перекос» в работе в сторону рационалистических оценок стал результатом того, что Христофоров, уделив центральное место «позитивным» практикам администрирования, стандартизации, дисциплинирования и контроля, вынес на периферию своего исследования вопросы, касающиеся возможностей самодержавия (весьма ограниченных) использовать механизмы легитимации власти.

Важнейшим инструментом легитимации власти является система образования. К сожалению, в книге ничего не говорится о начальных школах, хотя неоднократно упоминаемая автором неразвитость административно-правовой

²⁴ См., например: Бурдьё П. О символической власти // *он же*. Социология социального пространства. СПб., 2007. С. 87–96.

инфраструктуры деревни была напрямую связана с неграмотностью крестьян. Между тем заметным шагом «образованного общества» навстречу «народу» в середине XIX в. стала не только идеализация русской общины, но и концепция «родного языка», предусматривавшая соединение письменной и разговорной народной речи и демонстрировавшая готовность элиты хотя бы частично поступиться своей монополией на знание. Потенциал этой концепции, связанный в том числе и с русским «национальным проектом», в полной мере раскрылся далеко не сразу, а лишь при постепенном, очень медленном, распространении сельских школ.

Столь же медленно происходило и приобщение крестьян к правовой культуре. Как отмечает автор книги, результаты трансформации правосознания крестьян, соединявшей обычай и писаное право, «были весьма хрупкими даже в начале XX в.» (с. 218). Но если община выступает в монографии не только как социальный институт, но и как предмет различных интерпретаций современников, то в обычном праве автор усматривает исключительно реальность, тормозившую реформы. Однако в XIX в. представления о нём формировались под сильным влиянием юристов, не скрывавших приверженности к формальной законности и понимавших право только как систему письменно зафиксированных норм. Обязательными элементами её считались рациональная кодификация законов и нормативное судопроизводство²⁵. Характерно, что на рубеже XIX–XX вв. при обсуждении в правительственных кругах возможности устранить «правовое неустройство» крестьян, высказывались даже сомнения в самом существовании обычного права. И если бы разработанный тогда же специальный кодекс, превращавший крестьянские обычаи в государственный закон, был введён в действие, это, скорее всего, не только не упростило бы задачу регулирования деревенской жизни, но, напротив, значительно усложнило бы её, создав дополнительный источник права²⁶.

Отмечая «институциональную слабость» власти и отсутствие в её распоряжении «более современных» технологий управления, автор справедливо указывает на то, что «крестьянские дела» находились в компетенции множества конкурирующих ведомств, включая Главный комитет, Сенат, министерства внутренних дел, финансов и государственных имуществ. К ним нужно добавить Министерство народного просвещения и Святейший Синод, которые в известном смысле также занимались «крестьянскими делами», хотя напрямую и не вмешивались в аграрные отношения. Эта ведомственная раздробленность свидетельствовала не только о слабой унификации административно-правового пространства и неэффективности управления, но и о том, что все эти учреждения так или иначе представляли интересы сельских жителей. Если крестьяне не добивались «правды» в решении земельных споров у мирового посредника или в губернском присутствии, они обращались в Главный комитет, в Сенат или даже к императору через Канцелярию прошений на Высочайшее имя (такой возможностью широко пользовались, в частности, в западных губерниях). Подобное взаимодействие прекрасно вписывалось в характерную

²⁵ *Бербанк Дж.* Правовая культура, гражданство и крестьянская юриспруденция: перспективы начала XX века // Американская русистика: Вехи историографии последних лет. Императорский период: Антология. Самара, 2000. С. 274–281.

²⁶ *Йосида Х.* Крестьянский правопорядок и политика юридической интеграции крестьянского сословия в пореформенной России // П.А. Зайончковский: Сборник статей и воспоминаний к столетию историка. М., 2008. С. 355–359.

для самодержавия практику, при которой потенциальная жертва могла в собственных интересах противопоставить «произволу» местных чиновников или помещиков «произвол» более высокого бюрократического уровня. Кроме того, оно вполне соответствовало и «имперскому правовому режиму», основанному на дифференцированном регулировании прав различных групп и позволявшему, по словам Дж. Бербанк, «использовать множество локальных институтов, апеллировать на основании особых потребностей, адресоваться к официальным учреждениям, во власти которых было говорить от лица определенной группы»²⁷.

Соглашаясь с выводами Христофорова о том, что важнейшие причины неосуществимости реформ состояли в «низком трансформационном потенциале» и «слабости» самодержавного государства, в недостаточных стандартизации, унификации, регламентации, рационализации и контроле, невольно задумаешься: а каков был бы результат преобразований, если бы всё это (стандартизация, контроль и т.д.) действительно каким-то чудом стало возможно в реалиях России того времени в условиях персонифицированной власти, подавляющей неграмотности народа, при отсутствии автономного гражданского общества? Привело бы это благодаря эффективному управлению к процветанию «самостоятельных фермеров», или же окрепшее государство стало бы ещё более изощрённым и требовательным к крестьянству?

Татьяна Литвинова: «Глобус России» не должен превратиться в историографическую реальность

В своей новой книге И.А. Христофоров не только продолжил исследование политической и интеллектуальной борьбы вокруг крестьянской реформы 1861 г., начатое им ещё в монографии об оппозиции Великим реформам²⁸, но и осуществил целый ряд задач, намеченных в последние годы его учителем — Л.Г. Захаровой²⁹. Так, он уделяет большое внимание выявлению позиций и взглядов разработчиков реформы и их оппонентов, раскрывает предпосылки отмены крепостного права, используя данные о макро- и микроуровне социально-экономического развития предреформенных десятилетий, освещает значение институциональных преобразований первой половины XIX в., роль «либеральной бюрократии», влияние реформы 1861 г. на помещичье и крестьянское хозяйство и т.д.

Крестьянская реформа представлена Христофоровым как длительный процесс и результат компромисса не только разных политических сил и групп, но и различных подходов, более или менее противоречиво сосуществовавших в сознании государственных и общественных деятелей. «Судьба реформы» прослеживается автором в широком хронологическом и тематическом измерении, что возвращает «крестьянскому вопросу» его утраченную «прижизненную» полноту. В книге подробно анализируются не рассматривавшиеся ранее в историографии особенности инфраструктуры, не соответствовавшей сложности и масштабности происходивших преобразований. В частности, автор указы-

²⁷ *Burbank J.* An Imperial Rights Regime: Law and Citizenship in the Russian Empire // *Kritika: Explorations in Russian and Eurasian History*. 2006. Vol. 7. № 3. P. 430.

²⁸ *Христофоров И.А.* «Аристократическая» оппозиция Великим реформам (конец 1850 – середина 1870-х гг.). М., 2002.

²⁹ *Захарова Л.Г.* Александр II и отмена крепостного права в России. М., 2011. С. 647–680.

вает на отсутствие рациональной системы землеустройства и оформления земельной собственности, отмечает нехватку квалифицированных землемеров и архаичность фискальной системы, замена которой потребовала бы настоящего социального переворота. Христофоров пишет о слабой унификации административно-правового пространства на местах, изолированности крестьянства от других сословий, традиционной автономии общины, значительно осложнявшей какие-либо преобразования, неизбежно предполагавшие рационализацию; об отсутствии в столице адекватной, полной, идеологически нейтральной информации о состоянии дел на селе и т.д. Нельзя не согласиться с тем, что эти факторы в значительной степени определили не только ход реформ 1860–1870-х гг., но и провал «программы контрреформ» в 1880–1890-е гг. При этом автор делает немало тонких наблюдений, например, относительно сочетания историзма и эмпирического знания в мировоззрении реформаторов XIX в., амбивалентности стратегии преобразований, о специфике сельской администрации, крестьянского землепользования и помещичьего хозяйства. Нет сомнения, эта книга расширяет горизонты в исследовании как эпохи Великих реформ, так и истории российского крестьянства.

Естественно, читая книгу, мне трудно было полностью абстрагироваться от своего «национального» восприятия. «Опрокидывая» материал на украинскую ситуацию, я не могла не задумываться, с одной стороны, над состоянием современной украинской историографии XIX в., а с другой, – над тем, что может дать ей «Судьба реформы». В силу известных причин, о которых уже много написано и на которых неуместно останавливаться в данном случае, украинские учёные в изучении имперского периода своей истории вынужденно шли в фарватере российской исторической науки, которая долгое время была и «указующим перстом», и ориентиром в более позитивном смысле. Сейчас же, приходится признать, они в большинстве своём находятся вне этого историографического контекста. Думаю, они радикальнее, чем российские, пытались разорвать связь с советским наследием и приоритетной для того периода социально-экономической проблематикой. В итоге же украинская историография в значительной степени отгородилась и от достижений современной русистики. Во всяком случае, в исследованиях наших специалистов практически не встречается ссылок на недавние ключевые, на мой взгляд, работы российских исследователей, в том числе и по «крестьянскому вопросу».

Такое стремление к научной самостоятельности, к сожалению, вывело украинских исследователей за рамки магистральной линии изучения не только крестьянской реформы, но и всего «долгого» XIX в. На уровне деклараций в нашей историографии подтверждается стремление к концептуальным новациям, но фактически воспроизводится или верность народнической парадигме, или историографическая инерция, которая очень трудно преодолевается. По-прежнему, со ссылками на работы 1950–1960-х гг. и без серьёзного переосмысления, повторяются и иллюстрируются до боли знакомые положения о разложении феодально-крепостнической системы, об упадке и рутинности помещичьего хозяйства, усилении эксплуатации крестьян и их обнищании, о паразитизме дворянства и т.п. Крестьянские волнения, как и раньше, признаются первопричиной преобразований, а в статьях, посвящённых 150-летию реформы 1861 г., при подведении итогов и определении задач на будущее всё ещё вынужденно звучат призывы существенно скорректировать марксистско-ленинскую теорию. Очевидно, что разрыв и «независимость» друг от друга – не на

пользу ни украинским, ни российским историкам. Национализация имперского исторического пространства, так же как и господствовавшие представления о нём как об исключительно гомогенной реальности, организуемой центральной властью, ставят под угрозу понимание его целостности и многообразия.

Конечно, с узкоутилитарной точки зрения работы российских историков мало что дают их украинским коллегам, поскольку современные русисты практически отказались от анализа «украинских» сюжетов. В книге Христофорова их также почти нет, если не считать замечаний о том, что Западный и Юго-Западный край – это отдельная тема. Но как быть с остальными «украинскими» регионами, в том числе и с теми, которые воспринимались «центром» как великороссийские (Новороссия, Слобожанщина)? Является ли «отдельной темой» Левобережная Украина-Малороссия, сочетавшая в себе черты центра и периферии имперского пространства (известный японский исследователь Кимитака Мацузато относит её к трём основным «ядровым» регионам, составившим Российскую империю)? Если речь идёт об общественных представлениях, то должны ли учитываться воззрения местной элиты, во всяком случае, тот реформаторский запал, который несомненно влиял на содержание местных Положений, например, Малороссийского? Хотя автор книги и говорит о разнообразии социально-экономического ландшафта сельской России, но, поскольку регионально исследование не очерчено, возникает вопрос: что имеется в виду под «русской/российской деревней»?

Наверное, для российских историков тут нет проблемы, и понятие «отечественная история» у них тоже, очевидно, не вызывает сомнений. Действительно, реформа 1861 г. была центральным событием российской истории. Но украинские регионы, так называемая подросийская Украина, не могут исключаться из общероссийского пространства, в том числе и пространства реформ. Безусловно, претензии тут не столько к российским коллегам и в том числе к автору «Судьбы реформы». Украинские историки виноваты сами. Конечно, изучение судьбы реформ в украинских регионах должно быть прежде всего их делом, и от качества их работ в значительной степени зависит, будут ли их результаты вплетены в общую картину.

Особенно это важно при изучении «институционального ландшафта, сложившегося в русской деревне и около неё», при анализе того, «как элита постепенно приходила к пониманию, чего же она хочет от крестьян и как она планирует этого добиться» (с. 18). Это касается не только дореформенной, но пореформенной эпохи. Так, говоря о «вотчинной топографии», следует учитывать, что выбор помещиков в пользу барщины в украинской деревне диктовался, кроме названных в «Судьбе реформы» причин, также малоземельем имений и необходимостью как-то занять крестьян при невозможности наделения их землёй. В украинских регионах «мозаичное панно» топографии сельской России (с. 31) было ещё более пёстрым за счёт чересполосицы, где в рамках одного села соседствовали не только помещичьи, но и казацкие земли, а также владения крепостных крестьян, полученные ими ещё в период Гетманщины путём «займанщины» или покупки участков в условиях свободной мобилизации земли. Право на эти участки признавалось и помещиками, что важно учитывать и при изучении сельской топографии пореформенного периода, поскольку это обстоятельство тесно связано с проблемой наделения бывших крепостных землёй, «отрезками» и складыванием всей системы взаимоотношений основных фигурантов реформы.

Изучение региональных особенностей, возможно, поможет русистам разобраться и в специфике Правобережной и Левобережной Украины, Новороссии и Слобожанщины. Понятнее станут и позиции местных элит, и их влияние на ход преобразований. В таком случае, например, по-иному будет восприниматься дискуссия между Ю.Ф. Самариным и А.И. Бутовским, который выступал в 1858 г. как малороссийский помещик, хорошо знакомый с общинными традициями Левобережной Украины. Получит, наконец, освещение участие В.В. Тарновского в создании Карловского проекта, раскроется и противоречивая деятельность М.П. Позена, игравшего в 1850-х гг. заметную роль не только на Полтавщине, но и в Петербурге. Станет яснее, стоит ли при выявлении связи реформ и национализма, кроме польского и остзейского «вопросов», учитывать и украинский.

Итак, не восстанавливая империю, хотелось бы ощутить восстановление историографической целостности. Хотя бы для того, чтобы гротескный образ «глобуса Украины» (или «глобуса России») и представление о разворачивавшейся исключительно на их просторах истории не превратились в историографическую реальность. Пока что эта перспектива, к сожалению, представляется не такой уж фантастической. Понимая, что в рамках одного исследования всех проблем не решить, искренне благодарна И.А. Христофорову за толчок к размышлениям.

Материал подготовлен А.В. Мамоновым